

Елена Ржевская



ОТ ДОМА ДО ФРОНТА

Е. Ржевская

Елена Моисеевна Ржевская

От дома до фронта

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=65094531

*От дома до фронта. Повести: ИД Книжники; Москва; 2021
ISBN 978-5-906999-60-3*

Аннотация

Путь от дома до фронта на войне измеряется не только и не столько расстоянием и временем. Мера ему – опыт. Опыт нового быта, новых, незнакомых отношений, опыт нового взгляда на себя, на жизнь и смерть. В 1941 году студентка Литинститута Лена Каган была зачислена (со второго раза, догадавшись умолчать о том, что отец был исключен из партии) на курсы военных переводчиков, а после их окончания направлена на фронт под Ржев, прошла всю войну до Берлина. Ржев дал ей литературное имя, документальная повесть «Берлин, май 1945» сделала знаменитым автором. Но пока смешливая и очень наблюдательная студенткамосквичка заучивает немецкие уставы, меняет платье на гимнастерку, туфли на валенки. А оказавшись в самой гуще фронтовых будней, только начинает задумываться о двойственной роли переводчика на войне, единственного, кто понимает своих и чужих.

О начале военного пути Елены Ржевской – две автобиографические повести, вошедшие в настоящий том, «От дома до фронта» и «Февраль – кривые дороги».

Содержание

От дома до фронта	7
Глава первая	7
Глава вторая	31
Глава третья	48
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Е. Ржевская

**Елена Ржевская
От дома до
фронта. Повести**



Елена Ржевская

Фотография автора © Е. Ржевская, наследники.

Фотографии на обложке и форзацах © Е. Ржевская, наследники

«От дома до фронта» © Е. Ржевская, наследники, 2021

«Февраль – кривые дороги» © Е. Ржевская, наследники,
2021

© Издание на русском языке. ООО «ИД «Книжники»,
2021

От дома до фронта

Ляле Ганелли

Глава первая

1

Лошадей увели на войну, а в их опустевших стойлах свалены чемоданы, тюки. В проходе за столиком сидит военный писарь, надзирающий за этой «камерой хранения». А раньше тут колдовали ученые-ветеринары над квашеным кобыльим молоком.

И службы, и дом кумысосанатория занял Военный институт иностранных языков. Тут свой распорядок, своя жизнь, не смыкающаяся с жизнью наших краткосрочных курсов военных переводчиков, хотя начальство у нас общее – генерал Биазы. О нем говорят, что он вернулся из Италии, с поста военного атташе.

С того дня как мы причалили сюда, в Ставрополь, на волжском теплоходе «Карл Либкнехт», наши курсы распространились по всему городку. Девушек поместили в школе,

парней – в техникуме и в другой школе. На занятия мы ходим в помещение райзо, обедать в столовую райпо¹, готовить уроки – в агитпункт. В баню изредка к той хозяйке, какая пустит.

До кумысосанатория от города километра три через поле и смешанный лес. Нас вызывают в строевую часть, разместившуюся в конюшне, – заполнить анкеты.

Мы идем по проходу, мимо писаря, заносчиво поглядывая по сторонам на стойла, забитые имуществом. Тут налаживается новый быт военного времени. Мы же чувствуем себя на марше, и все лишнее не имеет для нас ни цены, ни привлекательности.

2

Приставший ночью теплоход доставил в Ставрополь брезентовый мешок с трофеями. Вот он. Стоит на полу. Горловина распечатана, по бокам свисают бечевки с ошметками сургуча.

– Это лучшая практика, какая только может быть, – торжественно говорит маленький Грюнбах, вольнонаемный преподаватель. – Вы должны научиться разбирать письменный готический шрифт. На фронте нужна моментальная реакция...

¹ Райзо – районный земельный отдел. Райпо – районное потребительское общество. – *Здесь и далее примеч. ред.*

Мы не слушаем, прикованы к мешку: что-то высунется сейчас оттуда – война...

Исписанный листок. Готика – длинные палки, скрепленные прутиками: «Meine liebe Grete!» – и опять палки и прутики. Через этот готический частокол из букв продираешься к смыслу: «У нас на позициях затишье вот уже четыре последних дня... Командир направил меня с донесением, я шел в штаб батальона, под ногами у меня шуршали листья...»

– Здесь краткая открытая гласная, – слышу Грюнбаха.

«...я смотрел на чудесный закат и вспоминал, как мы с тобой прогуливались, взявшись за руки, вдоль берега Варты. О, meine Liebe! Мой серый пиджак ты можешь отдать Отто. Остальной мой гардероб, будем надеяться, верить и просить Бога, дождется хозяина...»

– Дальше. Читайте до конца, – говорит Грюнбах.

Но дальше ничего нет. Мы молчим, разглядываем с тревожным недоумением, точно сейчас только увидели это кем-то писанное и почему-то не оконченное письмо.

Грюнбах опять опускает маленькую ручку в мешок.

– Мы берем это вот так, – говорит он. И видно, как нестерпимо ему взять это в руки.

Солдатская книжка! Настоящая. Soldbuch!

Мы обступаем Грюнбаха. Он говорит:

– Что мы имеем здесь, на первом листе? Звание, наме и форнаме. Вероисповедание. Мы быстро перелистываем, и

вот тут, на шестой странице, указана воинская часть. В сокращениях, принятых в вермахте...

Мы смотрим на его пальцы, осторожно держащие Soldbuch, на серый коленкор обложки, измазанный землей, на бурые пятна на нем... Кровь?

3

С занятий мы возвращаемся обычно уже в темноте. Тети-Дусина корова дремлет, улегшись на корявой, промерзшей земле. Наши шаги и голоса будят ее, она приподымает тяжелую голову, покачивает рогами.

Сама тетя Дуся, заспанная, в нижней миткалевой юбке, появляется в сенях. Сообщает какую-нибудь городскую новость:

– Обратно покойника повезли.

Наши московские уши никак не привыкнут, что слово «обратно» здесь, в Ставрополе, означает «опять».

Тетя Дуся, школьная уборщица, – единственное гражданское начальство над нами. Вообще мы в ее власти. Она получает на общежитие керосин и дрова, и от нее зависит, быть ли теплу и свету.

Тетю Дусю донимает изжога, и она пьет керосин. И льет его на сырые дрова, растапливая печи. Так что лампы редко бывают заправлены. Надоест нам сидеть в темноте, постучимся к тете Дусе, поканючим, и керосин отыщется. С дро-

вами хуже. Их мало, и те, что есть, – сырые. Шипят, тлеют – а тепла нет.

Внизу, на первом этаже, два класса. Наверху – один большой и учительская. В ней мы устроились. Можно сказать, привилегированно. Всего четыре кровати. На стене большой плакат, посвященный Лермонтову, – столетие со дня гибели поэта. Посреди комнаты – ближе к ее левой стороне – круглая черная печка. За печкой сплю я.

У меня шерстяное зеленовато-пегое одеяло. С тех пор как помню себя, это одеяло служило у нас дома подстилкой для глаженья. Оно все в рыжих подпалинах от утюга. Я старательно кутаюсь в него.

Чтоб собраться толком в дорогу, нужен навык. До сих пор я только раз уезжала из дому – по туристской путевке в Сванетию, и в путевке было поименовано все, что нужно взять с собой. А в этот раз мы уезжали внезапно. Накануне я выстирала все белье. В квартире было холодно и сыро, развешанное в кухне на веревках белье не сохло. А немцы заняли Орел, рвались к Москве. Нам казалось, курсы отбывают на фронт – защищать Москву. Какие тут могут быть полотенца, простыни. Одеяло для глаженья и так заняло почти весь чемодан.

А теперь, лежа на голых матрацах, мы с удовольствием припоминаем перед сном разный вздор. Вроде того, например, что существуют в мире такие предметы, как простыни. Полотенце – это вещь! Пододеяльник – тоже вещь, из обла-

сти фантастики.

Луна проложила дорожку у нас на полу. Скребутся мыши под полом. Или это тетя Дуся внизу шурует кочергой, разогревает ужин вернувшемуся с причала мужу.

Мы молчим, вроде спим уже. В Москве сейчас, наверное, не до сна. Бомбят. Что-то там дома? Белье в кухне на веревках пересохло. Впрочем, Рая и Нюня наверняка поснимали его и аккуратно сложили в шкаф.

Рая и Нюня – мои двоюродные сестры. Они лет на двадцать пять старше меня, но мама и тетки называют их «девочки». Это, наверное, потому, что они не вышли замуж.

Летом, когда немцы стали летать над Москвой, они переехали к нам с Маросейки. Их комната на пятом этаже. Над ними крыша и смертоносное небо. В квартире – никого, соседи повыехали. До бомбоубежища – пять этажей вниз, не добежишь. А мы живем на втором этаже, недалеко от метро, и у нас пусто: мама с братишкой эвакуировались, а старший брат на казарменном положении в научно-исследовательском институте.

Вечером, вернувшись с работы – Нюня работает стенографисткой в госбанке, а Рая – бухгалтером на кинофабрике, они – в такую жару – надевают эстонские боты, купленные на зиму, готовят ужин, прислушиваясь, не гудят ли сирены, и, возбуждаясь от ожидания, громко перекрикиваются: «А Германа все нет!»

Потом, сникнув, сидят в коридоре, ждут, положив на ко-

лени складные стульчики, купленные ими в магазине «Все для художника». Наконец, когда в репродукторе раздается грозное: «Граждане, воздушная тревога!» – подубасив кулаками в мою дверь, призывая меня встать, бегут, унося на себе самое ценное – новые эстонские боты и зимние пальто.

На подземных путях метро, куда их выносит потоком людей, они, расставив свои стульчики, садятся спиной друг к другу, чтоб был упор, и дремлют: утром как-никак на работу.

Папа при словах «воздушная тревога» начинает облачаться в негнущийся брезентовый комбинезон: его записали в противопожарную команду нашего дома и выдали обмундирование. Влезть в комбинезон ему нелегко – с тех пор как папу исключили из партии и сняли с работы «за потерю политической бдительности», левая рука его плохо действует. У нас есть специальный тяжелый мяч. Это папе для упражнений, чтоб рука лучше двигалась. Но теперь не до мяча. Кое-как папа влезает в твердый комбинезон и, шлепнув брезентовыми рукавицами о мою дверь – спускайся вниз! – уходит, гордый своей общественно полезной обязанностью.

Мне страшно за него, как он там стоит один у слухового окна в негнущемся комбинезоне, готовясь тушить зажигательную бомбу, если она упадет на нашу крышу.

Поначалу я тоже бегала в убежище и дежурила на крышах. Но и страх, и любопытство, и тщеславие отступили перед одним – спать хочется. Это с тех пор, как я по комсомольской путевке поступила на завод и мы работаем по двенадцать ча-

сов в смену.

Теперь Рая и Нюня одни остались в квартире – папа уехал на трудовой фронт под Малоярославец рыть окопы. Засыпая за черной печкой, я вижу, как они сидят, сникшие, под дверью, держа на коленях складные стульчики, и ждут, когда раздастся: «Граждане, воздушная тревога!»

4

Из Куйбышева прибыли в Ставрополь еще два мешка трофейных документов и военная девушка, догонявшая институт.

Девушка эта – подруга нашей Зины Прутиковой, кровать которой рядом с моей. Она сидит у нас в комнате, славненькая, розовая под синим беретом со звездочкой. Лузгает семечки. «Самарский разговор» – называют здесь семечки. Рассказывает: в Куйбышеве – много московских учреждений. Выступает известный исполнитель романсов Козин, тоже эвакуировался из Москвы. Она не вкладывает в эти слова никакого особого смысла, но в комнате на миг становится тихо, затаенно, тревожно.

– Хочу к маме, – вдруг говорит Ника Лось. Она сидит на кровати, поджав под себя ноги, и кутается в белый шерстяной платок.

– Ты что? – Зина Прутикова приподнимается на локте. Сегодня воскресенье. Она еще не вставала – под одеялом теп-

лее.

– Хочу к маме! – говорит опять Ника. Ее никогда не поймешь – всерьез она или шутит.

– Ну, знаешь. Уж если за мамину юбку держаться... – Зина озабоченно садится, свешивает с кровати голые белые ноги. – Мы не для того добровольно пошли в армию, чтобы хныкать...

Никто ее не спрашивает, для чего она пошла. У нас в комнате вообще об этом не говорят. Пошли, и все. Зина говорит очень тихо:

– А тебе, Ника, особенно неудобно так говорить. Твоя мама – на захваченной немцами территории...

– Временно захваченной. Ты забыла сказать: «временно». Ляп. Политический к тому же, – говорит Ника.

Посторонняя девушка в синем берете смущена этой перепалкой, ждет, что будет, раскрыв рот, – шелуха от семечка прилипла к губе.

В дверь всовывается могучее плечо Ангелины. Вторгается ее огромная мужская фигура. Она всегда так движется, пригнув большую голову с коротко, по-мужски подстриженными волосами, – стремительно, будто идет напролом. Цель ее сейчас – Ника. Задача – установить с ее помощью футурум конъюнктив от глагола *kämpfen* – бороться, сражаться.

Немецкий она знает еще похуже моего, и дается он ей туго. Зато в походе она будет куда выносливее всех нас.

Конъюнктив от *kämpfen* – это только для затравки. К Нике

у нее, как всегда, сто пятьдесят нудных вопросов, тщательно выписанных на бумажку.

И что за произношение! Будто скребут по стеклу ножом.

– Давай, давай еще, Ангелина, – говорю я. – Квантум сатис!²

Ангелина, когда слышит это «квантум сатис» или еще что-либо по-латыни, возбуждается, как старый боевой конь при звуках трубы.

– «...minus facile finitimis bellum inferre possent» («...труднее было идти войной на соседей»), – произносит она, обронив свою бумажку, не замечая этого, и, по-мужски, обеими ладонями, порывисто приглаживает свой «политзачес»³.

Это теперь надолго. За какие только грехи? Ангелина стоит, широко расставив ноги в брезентовых сапогах, засунув большие пальцы рук за ремень, и шпарит. Цезарь, «Записки о галльской войне».

Вряд ли кому придет в голову спрашивать, почему она идет на фронт. С первого взгляда видишь: она пойдет на войну своей тяжелой, мужской поступью, слегка переваливаясь с ноги на ногу. Кое-кто из девушек, куда более женственных и слабых, стремится на войну как на важнейшее дело своей жизни. А для Ангелины оно в другом – в учебе. И здесь,

² Сколько достаточно (лат.).

³ «Политзачес», т. е., «политический зачес», популярная перед войной среди молодых партийцев и других «сознательных граждан» короткая мужская стрижка с гладко зачесанными волосами.

в Ставрополе, она умиротворенная, словно в отпуске: тут от нее требуется совсем немного – зубрить немецкий.

Мы покорились, слушаем. Ника и Зина Прутикова, розовая девушка в берете и я. Ангелина замолкает, только чтобы набрать воздух. И опять читает нараспев, как наши институтские поэты свои стихи. Только для нее не в самих словах поэзия, а в усилиях, отданных ею на то, чтобы их заучить.

5

Ночи сейчас удивительные – лунные, светлые.

Ночью проснешься и ахнешь. Какая же благодать льется в окно. В нашей комнате одеяла, и головы спящих, и потушенная лампа на столе – все окутано молочным светом.

Где я, что со мной? Неужели война?

А иногда ночью меня будит Катя Егорова. Недомерок, угловатенькая, но уже замужем. Мы ее прозвали Дамой Катей.

Она приходит из другой комнаты в накинутах на рубашку шинели, с портфелем в руке и садится на мою постель. Я просыпаюсь, сажусь, и мы шепчемся, чтоб не разбудить остальных.

Ее семья – мать и сестры, братья (она говорит о них «наши дети») и корова, свиньи, гуси – в двадцати километрах от Можайска. Она пишет домой каждый день, чтоб зарезали корову, продали мясо и на вырученные деньги уехали бы поскорей на восток. И не знает, доходят ли ее письма.

Что я могу ей сказать утешительного, когда в сообщениях Совинформбюро появилось Можайское направление? Можайское и Малоярославское. Где-то там, под Малоярославцем, мой папа роет окопы. Я ничего о нем не знаю.

Мы молчим. Это молчаливое сидение как-то успокаивает Катю, она поднимается, вздохнув: «Они такие неприспособленные», и уходит, волоча по полу шинель, с неизменным портфелем в руке. В портфеле у нее фотографии, письма и зеленый целлулоидный стаканчик с маслом, купленным на рынке.

Утром все иначе. Нас много, тридцать курсанток. Мы шумно одеваемся, что-то жуем, торопимся на построение.

В дверях при выходе – пробка. Дама Катя, если столкнется с Зиной Прутиковой, отчетливо поздоровается, назвав ее «товарищ Прутикова», и постарается пропустить ее вперед. Они из одного пединститута, где Зина была на виду – комсомольская активистка. Дама Катя не из тех, кто легко переключивается из одной реальности в другую.

Во дворе, перед домом райзо, нас уже сто пятьдесят человек. Четыре пятых – мужчины: студенты Института истории, философии и литературы (ИФЛИ), МГУ, пединститутов и других вузов. Есть курсанты и постарше – уже с высшим образованием, работавшие. Но таких не много.

Некоторые сами подавали заявление, держали экзамен, как мы. Большинство же попали на курсы из учебных лаге-

рей, где находились по мобилизации. Пригнали грузовики: «Кто знает немецкий, шаг вперед!» – и по машинам. Для десанта набирают, говорили.

Но о нашем будущем мы пока ничего не знаем. Лениво строимся. Снует старшина – хотя тоже из учебных лагерей, но третий год службы, можно сказать – кадровый, – по пухлым щекам длинные бачки, озабоченная службой мордашка почти что школьника. Рьяно подравливает наш строй. Мы подтруниваем над ним. Наливаясь властью, он угрожающе покрикивает:

– Разговорчики! Это вам не институт!

Старшина может чувствовать свое превосходство над нами: у него «заправочка» что надо и «отработаны повороты».

Он зычно подает команду и упоенно чеканит шаг навстречу начальнику курсов.

Перед строем читают приказ: запрещается курить в главном здании Военного института и за десять шагов от него. Запрещается также грызть семечки и засорять двор при общезитиях.

Потом читают сообщение Совинформбюро: по стратегическим соображениям наши войска оставили Харьков.

Я невольно кошусь вправо – через человека от меня в строю Гиндин, инженер, харьковчанин. Сдвинута бровь, глаз прищурен. Словно ждет человек, вроде что-то еще должны сказать, объяснить.

Команда: разойдись. Гиндин не тронулся с места. Опу-

стил руку в карман, вытащил обрывок газеты, подсыпал табака-самосада, скручивает.

6

– Пехотный устав вооруженных сил Германии. Параграф первый, – диктует по-немецки маленький Грюнбах. – «Наступательный дух немецкой пехоты...» Вы меня поняли? В этом предложении заключены чрезвычайно важные слова. Ангрифгайст! Ангриф – атака, наступление, прорыв. Вы говорите пленному... – Он сжимает маленькие кулачки, прижав их к щекам. – «На какой день и на какой час назначена ваша атака, ваше наступление, ваш прорыв?» Поупражняемся, геноссен. Практика, практика унд нохмальс практика...

Мы разбираемся по парам. Я в паре с Никой Лось. Она – военный переводчик. Я – пленный немец.

– Давно ли вы на восточном фронте? Такой молодой и уже фашист! Что вам пишут из дому? Скоро ли кончится бензин у великой Германии? Сколько танков в вашем батальоне?

Она говорит быстро, уверенно и насмешливо.

– Ни черта я не поняла.

– Скоро ли кончится бензин? – переспрашивает она.

Вчера лектор говорил, что мы планомерно отступаем, выигрывая время, а у немцев вот-вот кончится бензин и станут моторы. Возле нас Грюнбах. На нем, как всегда, чистая белая рубашка и черный галстук. Наверное, всю зарплату пе-

реводит на стирку рубашек. Ника выпаливает все сначала, а он с горячностью сжимает в кулачки и опять выбрасывает пальцы в такт ее вопросам.

– Наш командир, – говорит Ника, поводя на Грюнбаха своими узкими, темными, насмешливыми глазками, – требует, чтобы вы отвечали только правду.

Но я теряюсь, я не могу так быстро подобрать слова, поставить их в правильные падежи и организовать взаимодействие между ними.

Маленький Грюнбах огорченно качает головой.

– Вы переигрываете. Это ведь не драмкружок. Не старайтесь изображать фашистского солдата. Не упирайтесь. Отвечайте подробно. Сейчас вам нужна только практика.

Мы меняемся партнерами. Теперь я – переводчик, а мой пленный – Вова Вахрушев.

– Вова! – говорю я, заглянув в свою тетрадку. – Сколько огневых точек в расположении твоей роты?

– Предполагать, что немец тотчас примется выдавать военную тайну, курьезно по крайней мере.

В коридоре ударили жестяной кружкой в пустой жестяной жбан – конец занятий.

Мы шумно поднимаемся, разбираем с подоконника свои пайки хлеба и спешим в столовую.

Столовая райпо!.. В ней пахнет щами, которые поглощались тут десятилетиями. И парно, как в бане, хотя совсем не так тепло. Пар клубится от двери; он бушует над котлами за

низкой стойкой, отделяющей зал от кухни, и вьется прямо из тарелок. По залу осторожно двигаются женщины с большими животами, разносят суп с макаронами.

Когда мы приплыли в город Ставрополь из Москвы – это было пятнадцатого октября 1941 года, шестнадцать дней назад, – в этой столовой работали кадровые официантки. Они шествовали по залу, неся перед собой горку тарелок с горячим супом (одна тарелка на другой, между ними прокладка – пустая перевернутая тарелка). Горка дымилась и колыхалась.

Но официанток больше нет – их отправили на трудовой фронт. Те, что заменили их, – не профессионалы общепита, это эвакуированные беременные женщины, и райсовет трудоустраивает их как может. Они старательно несут в обеих руках, чтоб не расплескать, всего по одной тарелке супа. Но мы не торопимся. Мы рады посидеть тут. Здесь все же самое теплое место в городе. И керосиновые лампы горят в полный накал. От гомона и махорочного дыма, от предвкушения горячего супа голова слегка кружится. В сыром тумане столовой все немного необычны: и наши курсанты в шинелях, и опоясанные клетчатыми шальями бабы, чьи лошади переминаятся на улице у коновязи.

А вон в том углу сидит Некто. На прямых плечах плащ-палатка, как бурка; ниточка темных усов; круглоглазый, таинственный – поручик Лермонтов, вырвавшийся из вражеского «котла»!

Женщина, что так плавно движется по залу, подаст сейчас ему дымящуюся тарелку – с поясным поклоном.

– Послушайте! – подсаживается Вова Вахрушев. От его голоса все сразу становится обыденным. – Как по-вашему? Можно завшиветь и остаться интеллигентом?

– Можно, – рассудительно говорит Ника. – Вшивым интеллигентом.

При всей своей невозмутимости Вова немного задет. Но нам некогда объясняться с ним. Мы дохлебываем суп – и шасть на улицу, за поручиком.

Ох как нелегка поступь его кирзовых сапог. Хлоп-хлоп-хлоп. Шинели на нем нет. Одна лишь плащ-палатка внаброску.

Порывистый ветер с Волги. Ранний, жесткий, крупчатый снег сечет косыми струями. Снег не припал к земле, не примялся – гуляет. Ветер наподдаст, и белый столб метнется под дома, и плащ-палатка надувается как парус.

Поручик запахивает полы плащ-палатки и сворачивает в переулок. Прощай, нездешнее видение!

7

Волжский ветер гуляет по немощеным улицам. Приземистые срубы, при них баньки – топят по-черному. Все как встарь.

Светит луна. Посреди главной улицы, взявшись под ру-

ки, бредут ставропольские девчата. Прокричат частушку, умолкнут и вроде ждут – не подхватит ли кто. Тихо, как на пустыре. Только собаки за заборами заскулят, зальются слышнее. Безлюдье опустевшего тылового городка.

Позади девушек идем мы с Гиндиным. Тоже гуляем.

На днях Ника обнаружила у себя в чемодане кусок подкладочного шелка, и мы всей комнатой сшили из него четыре мешочка-кисета. Один я подарила Гиндину. Теперь он считает своим долгом оказывать мне внимание. Вот пригласил пройтись. Анечка – она четвертая в нашей комнате – дала мне надеть шерстяные носки, но все равно в брезентовых сапогах ноги на ветру мигом коченеют.

Минуем базар, темные, пустые прилавки – и опять поравнялись со сквером. Памятник Карлу Марксу. Останавливаемся, с трудом разбираем слова: «Пусть господствующие классы трепещут. Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей».

– Если б этот товарищ был жив, – говорит Гиндин, – мы бы с ним хорошо поладили.

Всего-то и делов, что он изучал «Капитал» в инженерно-экономическом институте.

Мои окоченевшие ноги окончательно бастуют. Я демонстративно луплю брезентовым сапогом о сапог. Он-то в яловых. Мужчинам выдали настоящие сапоги, а нам брезентовые. Зато я в берете, а Гиндин в пилотке: выпуклый лоб и большая половина головы непокрыты. Нос покраснел и уве-

личился.

Я еще никогда не прогуливалась с человеком такого солидного возраста. Ему тридцать три. Он старший из всех тут. В нашей комнате его называют за глаза «дядя Гиндин».

Луна светит вовсю, и девчата, поднимаясь назад от Волги, высмотрели нас у памятника, загорланили:

*Парочка, парочка,
Ах, солдат и дамочка!*

Мы торопливо идем, размахивая по-военному руками, подгоняемые в спину хлесткими выкриками. За углом девушки отстали. А тут и наш дом – тети-Дусина богадельня.

– Я вот рад, что вступаю в войну не щенком, а зрелым человеком. Я-то не дамся войне. Меня она не переломает... Убить, конечно, могут. Но это другое дело.

Он пожимает мне руку и уходит, цокая каблуками, прямой, заносчивый.

Наконец-то можно с облегчением взлететь к нам наверх, в «учительскую».

8

Говорят, война всегда сваливается внезапно. Может быть. Но мы-то говорили, думали о ней, песни распевали, себя к ней примеривали, а застала она нас врасплох.

Я записалась на курсы медсестер. Занимались мы в помещении магазина с кафельным полом, или в физкультурном зале школы, или в театре, прямо на сцене, за щитами «Идет репетиция».

Мы перетаскивали за собой огромный, потрескивающий сухими ребрами скелет с привязанным за лобковую кость инвентарным номером 4417.

А ночами я бегала на дежурство во двор, к воротам, или взбиралась на чердак, а оттуда на крышу. Никогда не предполагала, что если война, первым делом – защищай свой дом.

Это ведь когда-то, в детстве, был большой и важный мир – наш дом. Мы поселились в нем давно, я еще и в школу не ходила. Переезжали мы сюда с Тверского бульвара, и соседи говорили моим родителям: «Куда это вы едете? За Москвой селитесь?»

Мы поселились за Триумфальной аркой, за Белорусским мостом и старыми будками почтовой заставы николаевской поры, в новом доме – шестиэтажной громаде, вымахавшей надо всей округой.

Земля под нашим домом принадлежала до революции Елисееву, владельцу известного магазина на Тверской. Здесь была его дача, конюшни с рысаками, манеж, где обьезжали лошадей.

Деревянная двухэтажная елисеевская дача и сейчас стоит, стиснутая кирпичными корпусами, – там коммунальные квартиры администрации Бегов. Строение, где была конюш-

ня двухлеток – наружная стена разукрашена цветным изразцом, – оборудовали под детский сад. А в двухэтажном каменном доме все было по-прежнему, внизу – стояла, наверно жили конюхи и наездники, теперешние совслужащие.

Мальчишки, обитавшие в елисеевской даче и в двухэтажном каменном доме, над денниками, говорили на недоступном нам языке:

– Я на бегах был.

Или:

– Знатный был бег.

Пока вырастали на заднем дворе корпуса, круглоглавый манеж держался на прежнем месте, в нем был клуб строителей, и на подмости выходила кое-какая самодеятельность, а однажды сюда к нам заехала профессиональная труппа липутов.

Мы, ребята, держались возле манежа не ради одних этих увеселений – мы искали клад. Мы изрыли землю, иногда попадались обрывки уздечек, бляхи и позументы. Клада мы не нашли.

Когда строительство новых корпусов было закончено, манеж снесли, землю сровняли и залили водой – каток.

Все таинственное уходило из нашего обихода. Подвалы – раньше мы проникали в них, как в пещеры, – засыпали картошкой, шли суровые годы первой пятилетки. У входа в подвал повис замок, здесь пахло плесенью и гниением.

А по утрам, когда мы шли в школу, в ноздри проникал

сладкий дурман ванили – благоухала кондитерская фабрика «Большевик» позабытыми запахами пирожных и шоколада. В те годы лакомством была для нас пшенная каша с повидлом.

Детство давно кончилось, наш дом и его обитатели начисто перестали меня интересовать. А началась война, и я вот стою на посту у нас во дворе.

– Товарищи, пройдите в убежище! Вход через четвертый подъезд, товарищи!

Открылись подвалы и чердаки нашего дома, куда в детстве мы мечтали проникнуть. Как картошку выгребали из подвалов, это я помню, а вот кто и когда оборудовал там бомбоубежище, этого никто не заметил.

– Можно мне пройти с ним? – встревоженный, хриплый голос. Толстая женщина со шпирцем. Что-то неприятное связано у меня с ними.

– Проходите, проходите, только поскорей!

Она семенит на отяжелевших ногах, из-под пальто виднеется ночная рубашка, на поводке трусит одряхлевший шпирец.

Так ведь это он в бытность свою резвым щенком тяпнул меня за ногу, и мама возила меня в Пастеровский институт на уколы от бешенства.

– Кальвара, а Кальвара, чего в убежище не идешь?

Медленно, вразвалочку подходит Миша Кальварский. Вымахал такой верзила, кто б мог подумать – в детстве меньше меня был ростом.

Присели на скамейку. Раньше мы с ним дружили, а в последние годы встретимся: «Здравствуй!» – и расходимся каждый по своим делам.

По соседству на крыше табачной фабрики «Ява» зенитка простучала и выдохлась, отвалилась. Снопы прожекторов мчатся по небу друг за дружкой, точно игру затеяли.

– Слушай, что скажу. – Кальвара попыхивает папирсой, а не следовало бы: говорят, летчик может огонек увидеть. Подсвечивает мохнатые, цыганские, нечесанные брови и под стать им черные глазищи. – Мы в десантный полк подались.

– Да?

– Я и Кузьмичевы. (Это братья-близнецы из девятого подъезда.) Так что дня через два отбываем в полк.

Помолчали.

– Только ты никому ни слова... А то до матери и сестры может дойти, где я, в каких частях. Зря только переживать будут.

Он младший в семье. Остается теперь старушка-мать и одинокая немолодая сестра.

Что тут скажешь?

Загудели заводы и паровозы на путях у Белорусского моста коротко, часто, прерывисто – отбой!

Сегодня быстро их отогнали – не подпустили к Москве.

Дверь четвертого подъезда распахнулась, из убежища повалил народ. Задвигалось, закишело у нас во дворе и за оградой на улице, как днем, какое там – гуще, люднее, чем днем.

Люди – лица зеленые, измученные – несут на руках уснувших детей, тащат назад в квартиры узлы с зимней одеждой.

И нас тоже сейчас разлучит этот поток. Но пока еще стоим, держимся за руки.

– Ну, будь здорова, – говорит Кальвара. – Встретимся в шесть часов после войны.

Теперь так часто говорят, это уже поговорка такая. Покуривая, он уходит к своему подъезду, болтаются рукава накинутого на плечи пиджака.

Глава вторая

1

«Взлет точка прыжок тире гибель фашизму». Эту конспиративную телеграмму нам прислал худой, высокий, молчаливый юноша Семеухов. Он отбыл из Ставрополя досрочно с первой группой, сформированной из курсантов, владеющих немецким. Мы просили его дать нам знать, зашифровав, по возможности, свое послание от военной цензуры, какое назначение они получили.

Семеухов выполнил просьбу. Это самые патетические слова, прозвучавшие тут, в Ставрополе: «Взлет. Прыжок – гибель фашизму!» Значит – в десант.

2

Сидим разморенные, чистые, только сейчас из бани. Хозяйка, пустившая нас помыться, снабдившая щелоком – мыла у нас нет, – зазвала посидеть. Перед нами на клеенке рассыпаны жареные семечки – угощение. В доме тепло, пахнет разваренной картошкой. На комодке стеклянное яичко в медной оправе, тюлевые занавески на окнах, половики по бело-

му выскобленному полу. В таком уюте, в тепле сидим при-
смирившие. Шинели на табуретке свалены. Хозяйка вяжет
на спицах, журчит что-то свое, вечное, неоскудевающее. Ка-
кие-то обиды на дочь, что вышла прошлым летом, не спро-
сясь, замуж.

– Слаже тебе, говорю, стирать на него, чем с отцом-мате-
рью жить? Тогда ладно...

Стукнула дверь в сенях. Кто-то вошел, плечом раздвинул
ситцевую занавеску, встал в дверном проеме, молча кивнув
нам.

Мы с Никой обмерли. В плащ-палатке на плечах, кругло-
глазый, темноликий, загадочный – наш поручик Лермонтов!

– Постоялец, – сказала хозяйка, когда он, молча повер-
нувшись, ушел за перегородку. – Прислали мне на квартиру,
живет пока...

Мы вернулись к себе в учительскую и разложили под ке-
росиновой лампой тетради. С плаката на нас взирал Лермон-
тов с оторванным ухом – кто-то из ребят отщипнул на рас-
курку.

– «Из дальней, чуждой стороны *Он* к нам заброшен был
судьбою, – говорю я Нике. – *Он* ищет славы и войны, – и что
ж он мог найти с тобою?»

– Слаже тебе стихам предаваться, чем штудировать пехот-
ный устав великой Германии? Да?

У Ники под светло-русой челочкой – узкие, въедливые и

чуть грустные темные глаза. Она извлекает из-под матраца карты, раскладывает пасьянс по одеялу, прямо на боку у спящей Анечки.

3

Грюнбах старается приучить нас к звучанию немецких чисел, чтобы мы без запинки произносили на фронте номера полков, количество выпущенных орудием снарядов, укомплектованность частей...

– Военный переводчик должен моментально ориентироваться в этом.

Откуда ему знать, маленькому Грюнбаху, что надлежит делать военному переводчику? На войне он не был, специальной военной подготовки не имеет.

Исчерпав военные примеры, он диктует нам упражнения на числа совсем из другой области: «За семьдесят лет жизни человек выпивает более 50 тонн воды, съедает около 2,5 тонны белка, более 2 тонн жира, 10 тонн углеводов и 0,2–0,3 тонны поваренной соли».

Грюнбах предлагает нам тонны перевести в килограммы, получатся большие числа, полезные для нашей практики.

– Пожалуйста, геноссин, вы, – указывает на меня Грюнбах. – Вы отсутствовали вчера.

Это верно. Вчера была моя очередь раздобывать топливо для нашей печи.

– По уважительной причине, – вставляет Ника.

– Я не беру под сомнение вашу дисциплину, я лишь проверяю ваши знания.

Бодро множу тонны на тысячу и называю полученное число по-немецки. Грюнбах доволен мной.

– У вас есть сдвиг в хорошую сторону.

Мне бы порадоваться похвале, но пока я вычисляю в килограммах, сколько выпивает и съедает человек, мне вдруг приходит в голову, что жизнь и вправду состоит из белка, углеводов, поваренной соли и воды. А как быть с доблестью, со славой и героизмом? С Ангелининым честолюбием, с Никиным фантазерством?

Я пытаюсь поделиться этими грустными мыслями с Никой. Она отмахивается.

– Да нет же, ты вникни.

– Прошу вас, геноссен, не отвлекаться, – останавливает нас Грюнбах. – Вероника Степановна Лось сейчас нам продолжит.

Он наклоняет набок голову, опускает веки, приготовясь слушать. Ника – любимая его ученица. Про нас с Дамой Катей он говорит, что мы вполне современные девушки, а Ника – девушка будущего.

Она поднимается и без запиночки, не заглядывая в бумажку, переводит в килограммы оставшиеся на ее долю тонны. Ника находчива, быстро соображает и притом изящна. Загляденье.

Я рассматриваю Грюнбаха, это существо, состоящее из воды, жиров, углеводов и поваренной соли... Однако и у него имеются привычки, ему одному свойственные. Он, например, когда что-нибудь объясняет нам, сжимает руки в кулачки и потешно привскакивает на носках. Это из-за маленького роста или из-за экспансивного характера, что ли.

В нем есть что-то трогательное. Хотя бы то, как он обучает нас. Наши курсы только что возникли, система обучения еще не сложилась, и тут простор для него, тут он вполне самостоятелен со своей методикой. И мы разбухаем от полезных знаний.

Грюнбах родился в Швейцарии. Его родители – политэмигранты. После революции они вернулись в Россию. Большую часть жизни Грюнбах прожил на юге России.

Он с какой-то обостренной приверженностью относится к работе. Может быть, для него работа – родная земля, которую он возделывает.

4

Получив деньги – денежное довольствие курсанта, – мы отправились в кооперацию «Заря новой жизни» купить духи.

Мы торопились, чтоб успеть на построение, Ника, и я, и Дама Катя, заплетавшаяся в полах шинели.

Промерзшую землю наискось секло снегом. И под косыми снежными струями, в сером сумраке утра, брели с котомка-

ми – базарный день – ставропольки в плюшевых жакетах и разномастный эвакуированный люд.

У входа в магазин два бородатых человека разливали по кружкам одеколон.

В кооперации «Заря новой жизни» одеколон и духи кончились. Теперь уже до конца войны. У прилавка расплачивается за последний флакон наша Зина Прутикова. Мы по очереди понюхали его, маленький, граненый, с синей этикеткой – «Гиацинт».

Только мы вышли, мимо промчался со всех ног Петька Гречко, успев нам крикнуть:

– Митьку повели!

Мы – за ним, еще не поняв, что произошло. Немного пробежав, увидели: Митьку ведут. Шинель на нем без ремня, как на арестанте. Плечи расправлены, голова вскинута – хорохорится.

От Петьки узнали, что произошло. С утра сегодня в общежитии старшина придрался к Митькиной «заправочке» – складки под ремнем, оказывается, у него не согнаны все до одной за спину. Митька выслушал и удалился к себе на постель. «Встать!» – завизжал старшина. Митька встал и влепил ему по уху.

Мы побежали, обгоняя Митьку и его конвоиров, через поле, по выдолбленной в лесу тропе, протопали по конюшне, где в стойлах имущество преподавателей, и – в главное здание кумысосанатория, к генералу Биазии.

– Я вас слушаю.

Генерал Биазы смугл, красив и величествен, как венецианский дож.

Мы со смятением догадываемся: добр ли Митька, талантлив ли – все это ни к чему. Сейчас входит в силу другое – воинская дисциплина и нарушение ее. Было или не было. Черное или белое.

– По уставу, в случае неповиновения, – говорит генерал, – старшина может применить физическую силу...

Тогда бы ему крышка. И Митька бы пропал.

Пока Митьку еще не привели сюда, мы просим за него: это ведь не воинское преступление, а рецидив штатской необузданности.

В черных глазах Биазы человеческие искорки:

– Он ведь не присягал еще?

Ну конечно, не присягал! Какое это счастье, что мы еще не присягали.

То ли тронуло генерала Биазы наше волнение, то ли хватало неприятностей и помимо этой и другие непривычные ему заботы – о том, как провести сквозь зиму свой кумысо-санаторий, прокормить, отопить, – одолевали его, а мы были на отшибе, в городе – переменный состав, отбывающий на фронт, а там война и без него всех нас рассудит, – но, как бы там ни было, вечером Митька вернулся.

Мы сидели на скамейке у пристани. Навигация кончилась, и все тут как вымерло, только одинокий фонарь раскачивало

ветром. Скованное раньше обычного сероватое русло реки скучно, неподвижно распростерлось под нами.

Кто-то сказал сегодня, что немцы планируют захватить всю европейскую часть Советского Союза.

Свет раскачивающегося фонаря то и дело проходил по Митькиному лицу, осунувшемуся, с запавшими глазами, с сумрачно свисающей из-под пилотки прядью волос.

– Где б они ни осели, их выморят. – Пригнувшись, облокотясь о колени, Митька курил, припадая к сигарке, точно изголодавшийся.

На том берегу вспыхивали и перебегали огоньки, это на далеких нефтепромыслах. Где-то тут за нами граница Европы – Уральский хребет.

5

*Блажен, кто верит счастьем и любовью,
Блажен, кто верит небу и пророкам...*

Зина Прутикова цыкает на нас – мы можем разбудить больную Анечку. Мы набрасываем на нее свои одеяла, осторожно укутываем. В темноте движемся бесшумно, как привидения.

Ох этот черный круглый истукан, пожиратель дров, хоть бы руки согреть об него. Содрогаюсь, одеваемся. Бр-р. Бор-

мочем стихи.

«Лермонтовский год». Столетие со дня гибели поэта. Мы писали доклады, которые теперь уже не придется прочитать на семинарах.

Анечка спит. Коса свешивается с подушки. На вид Анечке лет шестнадцать, не больше.

– Вы скажите военному, – Зина Прутикова тихо наставля-
ет меня и Нику, – заболел наш товарищ... что вы от имени
всего коллектива...

*Блажен, кто не склонял чела молодого,
Как бедный раб, пред идолом другого!*

– Тсс!

Мы-то шепотом, а вот внизу тетя Дуся с утра пораньше во
весь голос костит протрезвевшего мужа.

Еще сумерки на улице. Черные луковки храма выплывают
в морозном тумане. Они будто отделились от храма, висят.
Красиво, дух захватывает.

Военком на втором этаже. Лестничная площадка забита.
Эвакуированные жены летчиков, некоторые привели с собой
детей. Ветхие старики – беженцы из Белостока: он – в дет-
ском башлыке, повязанном концами вокруг шеи, на ней –
мужская ушанка и рваная шалька поверх. Их сын пропал без
вести. Каждый день они приходят сюда в военкомат в надеж-
де узнать о нем.

На урок «Организация немецкой армии» мы уже не успеем, но на Грюнбаха никак нельзя опоздать, и, пользуясь тем, что мы в военной форме, приосанившись, хватаемся за ручку двери и мигом оказываемся у военкома. И тут же застываем от смущения. Возле стола, в плащ-палатке, как в бурке, подтянутый и напряженный, – поручик Лермонтов. И ни точка усов, и темный глаз сверкает... Мы замерли. Отступить нам нельзя. От имени всего коллектива нам надо выхлопотать сколько-нибудь дров для больного товарища. Сколько-то с военкома и с Биазы сколько-то...

В несносной тишине, похолодев, слышим неизвестный нам доселе голос поручика немного с хрипотцой от простуды или от курева.

– ...в августе еще, на Грачевской переправе – может, слышали про такую, – лишился ее... Пока терпеть было можно, не обращался...

Над столом седой шар сочувственно покачивается, бубнит:

– Только для новобранцев мы располагаем, вам ведь известно...

– А теперь, сами посудите, без шинели пропадешь, – мрачно говорит поручик. – Хоть какую-нибудь. Б / у...

Мы ждем, замерев. Молчание. Жметесь военком:

– А здесь-то вы еще долго? Вам надо в свою часть добратся. Там бы вам в два счета. В действующей армии иначе на это смотрят.

– Как управлюсь еще... Еще тонн десять фуража заготовить надо... Думал, до снега назад вернусь. А вот видите, как оно вышло...

Мир полон превращений. Поручик Лермонтов стал заготовителем фуража, лишился на переправе шинели и мерзнет теперь, готов довольствоваться хоть б / у – бывшей в употреблении. Что-то будет с ним?

По вечерам в нашу маленькую комнату набивается человек десять, а то и больше. Сидят на кроватях. Накурят, надышат, и тепло.

Анечке легче, она лежит под ватным одеялом, приподнявшись на локте, в бледно-розовой щегольской Никиной блузке с перламутровыми пуговками; на ее детском, круглом лице застенчивое расположение к жизни удвоилось.

Поем старинные песни. Или блатные.

Ника сидит на кровати, поджав под себя ноги, кутается в белый платок, о чем-то грустно задумавшись. Наверное, о своей маме. Не поет. Стриженная под мальчика голова ее обросла, челочка сползла пониже, притулилась к темной черте бровей.

Иногда в паузах Зина Прутикова затягивает сильным, звучным голосом «Дан приказ: ему – на запад, ей – в другую сторону...» или «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед...».

Не идет... Не поется что-то сейчас. А ведь как пели эти

песни еще недавно и в залах перед собранием, и где-нибудь в комнате на дне рождения, и на темных улицах ночной Москвы! В них звучало наше грядущее, наша общая судьба. А сейчас вот не звучат. Они пелись в предвиденье. А теперь уже началось.

– Песни – это наши молитвы, – меланхолично говорит Вова Вахрушев, который ни одной строчки пропеть не может.

– А вы, значит, безбожник, – говорит ему Ника.

– Вы посещаете занятия пунктиром. Почему так? – своим обычным голосом спрашивает он нас с Никой.

– Обстоятельства. То то, то се.

– Личность выше обстоятельств.

Сразу становится отчего-то скучно, обыденно.

Вова уравновешен и агрессивно болтлив. Кроме того, от Вовы пахнет селедкой. У всех парней, пливших с ним в трюме, уже давно селедочный дух забила махорка. А Вова не курит. Не курит и не поет.

Зина Прутикова еще недавно внесла бы поправку: «Песни – наши спутники и друзья» – или еще что-нибудь такое. Но сейчас молчит. Чувствует, должно быть, что такого рода афоризмы пали в цене, а ценность шутки, веселого слова неизмеримо выросла.

Наверное, потому так дружно полюбили все Петьку Гречко. Он из Белоруссии, из многодетной семьи служащего сберкасс, жившей весьма скудно. Дорвавшись до Москвы, Петька с первой же стипендии обзавелся тельняшкой и

нырнул в развлечения, которые может предоставить Москва энергичному провинциалу. Он не имел привычки корпеть над книгами. По вечерам в общежитии Петьку можно было отыскать в той комнате, откуда доносился патефон. Шкрябая пол сбитыми на сторону ботинками, он свирепо носился в фокстроте, прижимая к тельняшке хрупкую блондинку.

В институте его никак не выделяли. Были у нас на виду «интеллектуалы», а Петька-балагур казался немного облегченным.

Но вот мы погрузились с пристани парка культуры и отдыха на теплоход. Дана команда занять места: начальствующий состав с семьями и слушатели института – по каютам первого и второго класса; девушки-курсантки – в салон. Спали кто где. Мы с Никой – на столе, за который раньше усаживались обедать пассажиры.

Притушены огни. За темными окнами мечутся ранние снежинки, бьются о стекло. Всплеск лопастей, протяжный гудок, шлепки о мачту захлебывающегося на ветру флага.

А парни разместились в трюме.

Не мчишься в тачанке на врага по опаленной степи. В трюме из-под сельди плывешь обратным рейсом, удаляясь от фронта.

К таким превращениям надо как-то примениться, не впад в уныние.

Петька Гречко, неистощимый балагур, любимец трюма, выводил наверх свою команду, пропахшую сельдью, и па-

луба оглашалась песнями, свистом, чечеткой. Среди вымуштрованных слушателей Военного института шумела вольница. Не пресекали ее – терпели. В трюме плыли будущие десантники, еще не присягавший, не обузданный люд. Что с них взять.

6

Так вот всегда: приходит Петька Гречко со своей «джаз-бандой», мы поем, что-то выделяваем ногами, читаем стихи.

Но в лампе догорает керосин, лампа чахнет, коптит – сигналист отбой. Всей гурьбой ребята скатываются вниз по лестнице, топоча сапогами. Громяхнет в последний раз дверь, и – оборвалось. Тишина.

Анечка уронила голову на подушку, спит. Зина Прутикова разделась, осталась в нижней рубашке и брезентовых сапогах, медленно, задумчиво поднесла руки к голове – выбирает из волос заколки.

Я вдруг замечаю, какие у нее красивые белые руки и плечи.

Ника по-прежнему сидит на кровати, поджав под себя ноги, кутаясь в платок. Я подсаживаюсь к ней. В комнате полумрак. Молчим. Лампа глохнет, последними вспышками выталкивая пламя, стекло затянуло копотью.

Я встаю, задуваю лампу и укладываюсь за черной печкой. Изголовьем мне служат стопки тетрадей с прошлогодними

сочинениями школьников. Они сложены под моим сенингом. Тетя Дуся вытягивает их оттуда на растопку, и мое изголовье тощает.

После гомона, песен и топота – затишье, ни звука. Лежу, кутаюсь в прожженное утюгом одеяло.

Я стараюсь представить себе папу, каким он был давно, когда вернулся домой с Урала, со стройки, энергичный, деловой, неразговорчивый. Как, готовясь к докладу, он задумчиво шагал взад-вперед по коридору, заложив руки за спину.

Ничего не получается. Не вижу его таким. Все вытесняется одним воспоминанием.

Это было в тот год, когда я училась в десятом классе. Однажды я вернулась домой часа в два ночи. Пошарила в карманах – забыла ключ от входной двери. Я позвонила и услышала в ночной тишине, как в комнате у папы заскрипели пружины клеенчатого дивана. Он вставал, чтобы открыть дверь. Но он что-то долго возился, не шел. Я еще раза два нажимала кнопку звонка. Наконец папа открыл дверь. Он стоял на пороге в костюме, в вывязанном галстуке и зашнурованных ботинках. Я онемела...

Мы разошлись по комнатам, так ни слова и не сказав друг другу.

Чего б только я сейчас не отдала, чтоб не было этой ночи и тех страшных минут, что пережил по моей вине папа, решив, что за ним пришли.

Уехал папа внезапно.

Утром, после двенадцатичасовой ночной смены, не зная ничего о предстоящем его отъезде, я прохлаждалась в столовой за кашей.

Придя домой, прочитала записку: «Уезжаю на трудовой фронт. Если успеешь, наш сборный пункт – Таганское трамвайное депо»...

Когда я вбежала в депо, уже никого там не было. Один только коренастый рыжий мужчина нетвердо вышагивал по путям.

– Опоздали! – сказал он мне. – Ну, ничего. – Причмокнул и отвернул борт пиджака – из внутреннего кармана блеснуло горлышко бутылки.

Подали трамвай. Он мчал без остановок на Киевский вокзал опоздавших: меня, рыжего мужчину, показывавшего нам внутренний карман пиджака, зазывая: «Записывайсь в мою команду!», щуплого парнишку – парикмахера с Таганской и его толстую мать с тюком вещей для сына; мрачную беременную женщину, провожавшую мужа, он уснул тут же в трамвае, головой ей в колени, и бритоголового деда со скаткой из зимнего пальто, всю дорогу громко певшего что-то самодельное:

*Злой дышит вся Россия,
Чтоб германцу отомстить.*

Я заглядывала в теплушки, пока наконец в одной из них папа не поднялся с нар мне навстречу. Обрадовался, показал свое место:

– Еду с удобствами. Внизу уступили. – Взялся, как за юбочку, за широкое брезентовое галифе. – Вот. Выдали.

Он повел меня по перрону, с непривычки косолапя в сапогах, бодро размахивал руками, правой и левой, которая в другое время не очень-то подчинялась ему; осмелев, норovil без очереди напоить меня фруктовой водой.

Ох, папа. Он «включен в события», и они окончательно управляют папой – он солдат.

– Заходи, папаша, – трезво сказал рыжий мужчина, тот, что ехал в трамвае, – трогаем.

Мы простились. Рыжий мужчина пропустил папу и загородил собой вход, крикнул:

– Привет, дочка!

Поезд тронулся.

Глава третья

1

Пухлая мордашка старшины теперь всегда озабочена, когда он выравнивает строй, и делает это осмотнительнее прежнего, насканивает с оглядкой. С тех пор как он схлопотал в ухо от Митьки, он немного стушевался.

Мы тоже строимся проворнее. «...Рассчитайсь!» На морозе обходится без лишних слов. Щелк каблуков, взмах под козырек и скороговорка рапорта.

Потом в гробовой тишине слушаем сообщение Совинформбюро...

Танки генерала Гудериана подступили к Москве. А мы в тылу – странная, нелепая оттяжка – зубрим немецкий, изучаем книгу этого Гудериана. Она называется ликующе, угрожающе: «Ахтунг, панцер!» – «Внимание, танки!».

Для нас война начнется, когда мы расстанемся. Пока мы вместе, это еще не война. Изменились условия жизни, но дух жизни прежний.

До Ставрополя я не знала ни Нику, ни Ангелину, хотя мы из одного института – из ИФЛИ. А теперь мы приросли друг к другу и оттого, что скоро нам предстоит разлучиться, смягчаем.

Иногда мы пытаемся заглянуть за ту черту, которая называется «фронт», и даже признаемся, у кого какие страхи.

Дама Катя, оказывается, ничего так не боится, как голода. Призрак голода является ей даже во сне. Какой же он? Костлявый, серый?

– Не знаю, а только очень страшно.

Теперь, после ее признания, большой портфель Дамы Кати больше не смешит меня. Как увижу ее, полудеревенского вида девчонку, нескладную, в долгополой юбке по сапогам, с портфелем, в котором раньше она носила стаканчик с маслом, а теперь, вероятно, пайку хлеба, – так мне отчего-то больно становится за нее.

А Анечка больше всего опасается «самоходок». Так прозвали у нас тут вшей.

Я-то подстриглась, а у нее заплетенные в толстую косу, длинные, чуть не до колен, волосы. А мыла нет. Анечка иногда закрывается одна в комнате и скребет голову густым гребешком. Когда она переселится в окоп, как тогда будет? Неужели придется отрезать косу? Придется, придется!

– Ну и ладно, – чуть обиженно говорит она, но тут же опять, с неизменным доверием к жизни: – Если так надо, то что ж. А если на фронте придется увидеть, как пленного немца ударят или поведут его расстреливать? – вдруг спрашивает Анечка. – Страшно...

Мы долго молчим, и каждый из нас в меру своего воображения всматривается в какие-то бездны, разверзшиеся за

порогом нашей комнаты.

– Может быть, привыкнем, – неуверенно говорит Катя.

Это невозможно представить себе. Если привыкну, потерплюсь к такому, я, наверное, уже буду не я, а кто-то другой.

Мне приходят на ум слова Гиндина: он рад, что вступает в войну зрелым человеком, а не щенком. Он не дастся войне, его она не переломает...

– Не привыкнем, – говорю я.

– Еще бы. Где тебе... Ты ведь у нас деликатная, – поддевает Ника.

Так меня дразнят теперь. Это Дама Катя удружила мне. «Она такая деликатная, такая деликатная!»

Впору обидеться на Нику, но не выходит. Знаю: поддевает, а у самой кожа почувствительнее, чем у любого.

А к ней какие наведываются страхи? Не подпускает – забаррикадировалась чепухой: страхи-де не наведываются, одни заботы насчет того, куда б пристроить свои тряпки.

Тряпок у нее много – два полных чемодана. Ника ведь прямо из общежития погрузилась на теплоход, все имущество забрала с собой. Там у нее и туфли модельные, и белье, кофточки и кое-какие заграничные тряпки. Была, видать, Ника щеголихой, а теперь куда-то надо девать весь свой гардероб. Не потащишь же с собой на фронт.

– Распродажу устрою по дороге в часть, – не задумываясь, выпаливает Ника.

– А деньги на кой? На что они тебе?

– Деньги? Я ж не за деньги. За бриллианты. Обвяжусь по телу потайным поясом, а в пояс зашью драгоценности. Сховаю.

Мы развеселились.

– Когда будешь торговать, начни распродажу со своего черного свитера, – говорю ей. – Эй, Ника! С него начни.

Она оборачивается от окна, перестает колупать льдышки со стекла. Темные въедливые глаза сверлят меня из-под светлой челки. Лицо ее розовеет. Она смущена. Еще бы. Игрет этакую практичную, расчетливую особу, а сама сентиментальна и простодушна. Свой черный свитер – мы обогревались в нем по очереди – тайно спроварила поручику Лермонтову через знакомую нам хозяйку. Да еще, кажется, приложила любезную записку без подписи. Но я молчу, молчу...

– Один – ноль в твою пользу, – говорит Ника.

– Девочки! Послушать только, о чем вы говорите!

Мы разом поворачиваемся к Зине Прутиковой. Она сидит на кровати в Никиной замшевой куртке внакидку, локтями опершись о колени и подперев ладонями лицо.

– Ведь когда-нибудь о нас напишут. Как о героинях. А вы... О чем только вы... – с силой говорит она, глядя сокрушенно перед собой в пол.

Мы молчим. Дама Катя, получив неодобрение Зиной, комсомольской активистки их пединститута, расстроена, вздыхает. Анечка виновато заплетает и расплетает конец косы.

– Подайте мне мои ходули, – вдруг требует Ника. – Тогда я смогу обрести общий язык с товарищем Прутиковой...

Зина бурно поднимается, сбрасывает на постель замшевую куртку и с воспаленным лицом идет через комнату к двери. Дама Катя всполошенно хватает ее шинель и семени вдогонку. Анечка смотрит промытыми голубыми глазами на Нику, спрашивает с надеждой:

– Может, она ханжа?

Ника не отвечает.

Да и едва ли это так. Просто Зина привыкла быть вожаком, а тут у нас в Ставрополе нет на это вакансий. И она не в своей тарелке.

Раньше она не обращала внимания на свою внешность, а теперь цепенеет перед складным зеркальцем, в какой-то тревоге разглядывая свое красивое лицо. Потом она выдвигает из-под кровати чемодан, достает флакон «Гиацинта» и подолгу тычет стеклянной пробкой в щеки и шею.

Аромат этого последнего в ставропольской кооперации флакона растекается по нашей комнате.

2

Наш взвод построили в самой большой комнате райзо – для присяги. Ждали генерала Биазы. Я думала, будет парадно, бравурно.

Генерал приехал на розвальнях, вошел в черных новых

валенках с неотвернутыми голенищами. Ступал осторожно, точно боясь повредить их. Грел руки о печку посреди комнаты. Погрелся немного и тихо заговорил:

– Наши войска продолжают отступать по всему фронту. Судьба нашей Родины в опасности. Мы – солдаты и там, куда нас пошлют, выполним свой долг до конца.

Не добавил, что время работает на нас, а у Германии иссякает бензин, тогда как мы планомерно отступаем, и победа будет за нами. Сказал: «Судьба нашей Родины в опасности». И все. И ни знамен, ни оркестра...

«Если я нарушу эту мою торжественную клятву, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся».

Дама Катя, когда дошел до нее черед, зашагала насупленно, глядя на свои сапоги, прикрытые длиннополой юбкой, размахивая болтающимися руками. Она не срезала угол на подходе к столу, и командир взвода вернул ее на место. Ей пришлось начать все сначала, и она смешалась, читая слова присяги. А когда кончила и генерал пожал ей руку вместе с рукавом гимнастерки: «Надеюсь на вас!» – она сказала хриплым, осевшим голосом: «Спасибо на этом. Не сомневайтесь».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.